

# СТРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ

Г.В. Проскурякова

## Волышовская старина

### 15. Первое прощание с Волышовым

Любовь к Волышову, интерес к его прошлому и судьбе, гордость за все, что было создано жившими в нем и вокруг него людьми, желание продолжать их дело - все это было вложено близкими мне родными. Но были уже у меня свои личные радости и позднее свое, собственное горе. У меня были две, любимых мною совсем по-разному, тетки. Одна была мне почти как мать, хотя она была старше меня всего на 16 лет. Это была тетя Люба, молодая хозяйка «хутора». Единственная дочь, очень способная и живая, она могла получить любое образование, у семьи хватило бы средств на ее путешествия и причуды, было для нее накоплено хорошее «приданое», но она не получила от родителей главного - широких умственных запросов и интересов. Она не была привязана ни к Волышову, ни к своей семье, где царил тяжелая обстановка из-за деспотичной матери, она не хотела учиться в высшей школе и не любила читать. Были у нее свои увлечения - верховая езда, спорт (она занималась в обществе «Сокол» в

клубе «Маяк» в Петербурге на улице Надеждинской, теперь Маяковского), кино, карты (не азартные игры, а «умственные»).

Она несколько раз принималась учиться на разных курсах - французскому языку, стенографии - и наконец поступила на службу в одно из министерств машинисткой.

В Волышово приезжала только летом в отпуск, ей снимали комнату в «доме Фредерикса» на Лиговке. Замуж тетя Люба не вышла, получалось так, что ее сватали из-за приданого совсем не те, за кого бы она пошла.

Нас с братом она считала своими любимыми племянниками, мы скрашивали для нее приезды в Волышово, она забавлялась с нами, но и для нас придумывала необычные развлечения - походы, катанье, игры. Ей было приятно, когда меня отдали в ту гимназию, которую окончила она, и за три с лишним года моей жизни в интернате, пока не приехали в Петроград родители, она не пропустила, кажется, ни одного «приема» (а они бывали два раза в неделю), всегда находя время, чтобы навестить меня, принести лакомства, а потом, когда из-за войны стали хуже кормить, и бутерброды, и самое главное, поговорить с 10-12-летней девочкой, войти во все ее интересы.

*Продолжение. Начало в №№ 3/1995, 4/1996, 5/1996, 6/1997, 7/1997, 8/1998 и 10/1999. Настоящее издание подготовлено к печати дочерью Г.В. Проскуряковой Н.Н. Масленниковой.*

Первые два года моей учебы нас отпускали по воскресеньям к родным. И хотя в Петрограде жили бабушка и брат матери, меня брала в отпуск только тетя Люба. Особенно трогательным был один наш разговор. Я училась легко и хорошо, редко шалила и совсем не умела «дерзничать». А тетя Люба была в школе баловной до озорства и любила «возражать». Ей казалось, что я живу скучно и не озорничаю из страха перед учителями и родными. И однажды она меня стала убеждать, что не надо мне совсем себя вести на 12 баллов (у нас была 12-балльная система), вполне достаточно было бы и «десятки».

Ко мне она была добра: когда я полюбила французский язык - она летом взяла отпуск больше обычного и каждый день со мной занималась по изобретенному ею для меня способу. Покупались две одинаковые книжки, и мы их читали вдвоем, сидя друг против друга. Никаких словарей, никакой грамматики: я читала вслух, а тетя Люба сразу подсказывала мне перевод слова, которое было незнакомым, объясняла новый оборот. Книжки были очень интересные: не помню автора, а название было «Мой маленький Трот» и «Сестричка Трота». Потом я поняла, что ей-то приходилось готовиться к занятиям, хотя она владела языком даже разговорным. Зимой, на «приемах», мы обязательно вспоминали Волышово, наверно, не только мне, но и ей это доставляло радость.

Вторая обожаемая мной тетя - студентка тетя Женя - приезжала на лето из Ковно. Веселая, живая, хорошенькая, остроумная - за эти качества я ее и полюбила и ждала с нетерпением и почему-

то никому об этом не говорила. А ей очень нравилось брать меня на прогулки.

Я впервые выступала в роли волышовского старожила, вроде как хозяйка: выбирала маршрут и места, где мы сидели часами в парке или чаще в Омшарине. Опять лишь позднее я поняла, что не случайно нам где-нибудь встречался очередной ее «поклонник» - сперва это был студент-историк родом из Максакова Бора, потом - сын садовника, любимец ребят, Рудольф Вячеславович. Удивительно, как ни один из них никогда не дал мне почувствовать себя «третьим лишним».

Еще моей собственной, отдельной радостью было каждое лето. «Отдельной» потому, что все остальное было общее с братом, зимой (до моего отъезда в Петербург, когда и брата отдали учиться в Волышовскую начальную школу) вся жизнь у нас была общая.

Но летом я вырывалась из тесного мирка кукол, санок, плюшевых зверей и сказок, знакомилась с девочками из других домов, чаще всего с приезжавшими на лето. Они были ровесницы, рассказывали кто про Петербург, кто - про Варшаву, кто - про Порхов, все было очень интересно, и мы играли в горелки, в мяч, в «кружки», в серсо, ссорились и мирились, купались, научились плавать в нашей Вогошке при помощи одного на всех пробкового пояса, а еще больше простой доски, ходили босиком, особенно наслаждаясь этим в дождь.

А брат был младше на два с половиной года, очень долго знать не хотел никаких чужих детей, любил разговаривать со взрослыми, не желал ходить босиком, бо-

ялся речки. В школе все это потом изменилось, он стал ценить компанию мальчишек постарше, увлекся рыбной ловлей, велосипедом, собаками, но разошлись наши летние дороги все-таки раньше. Брат вообще был драчлив, но это качество летом было для меня мученьем, а дрался-то он со мной (вернее, бил меня), наверно, от ревности, может быть, и от страха за меня.

Проходило лето, уезжали из Вольшова девочки, вставлялись зимние рамы, и возобновлялась мирная жизнь вдвоем. Потом, когда меня увезли учиться, мы почти перестали ссориться и драться, очень скучали друг без друга, запоминали все хорошее и интересное, чтобы поделиться.

Задолго до школы обнаружилось, что в Вольшове очень трудно доставать... книги. Родители не имели средств для покупки детской литературы, которая скоро станет не нужна, все, что было дома, вскоре бывало прочитано, журналов - своих и подруги - хватало ненадолго. У меня уже был любимый писатель - С.Т. Аксаков, в собственном книжном шкафчике лежали однотомники А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, но снова и снова оказывалось, что читать нечего. Мне жертвовали прочитанные книжечки даже малознакомые люди, присылали благодарные пациенты отца, но положение улучшалось ненадолго (бабушкины гости оставляли в ее доме вороха книжонок «про сыщиков», но мне их даже не показывали). С нетерпением я ждала, когда сын лесничего Сережа Тюльпанов прочитает очередную книжку сочинений Луи Буссенара - у него была подписка - и ее привезут мне.

Один из моих дядей поехал на велосипеде в Порхов, уверенный, что сможет надолго одарить меня чтением, но сумел купить только двухтомное издание «Дон Кихота». Очень рано взялась я за газеты, в них печатались корреспонденции, телеграммы, очерки о двух балканских войнах - значит, мне было 8-9 лет. Про войну, как и про происшествия, читать скоро делалось страшно, но выручали объявления и иллюстрации (газета расстилалась на пол во всю ширь).

Летом 1918 года мне сказали о предстоящем отъезде в Петербург для поступления в гимназию. Как родители и бабушка подсчитали свои денежные ресурсы, этого я к счастью не слышала. А надо было к пособию «из Главной конторы» прибавить еще 70 рублей, да приготовить какую-то «экипировку», да деньги на поездки осенью, весной и на двое каникул - отец получал 50 рублей в месяц и родители с трудом сводили концы с концами.

Нисколько никто не боялся вступительных экзаменов: у мамы была программа начальной школы, и она была пройдена за три года шутя: мы сидели обычно в столовой, вечером, друг против друга и «проходили» правила грамматики, арифметики, читали и рассказывали, учили «закон божий» - главным образом, молитвы. Утром мама была занята, а я самостоятельно приготавливала уроки. За все годы плакала над ними только раз из-за арифметики - никак не могла понять деление и, как мама сочла, злостно рисовала в тетрадке какие-то цепочки (вместо пунктирных линий, обозначающих перенос цифр). Ну, и не раз плакала из-за чистописания.

Большим осложнением стал французский язык, он начинался в приготовительном классе, а я поступала сразу в первый. Соседка взялась пройти со мной учебник за месяц до отъезда в Петербург. Результатом были едва удовлетворительные знания и чувство страха и неуверенности.

Но вся эта подготовка была ничто в сравнении с первым горем, оно казалось невыносимым - горем прощания с Вольшовым.

Август был солнечный, нарядный, но к концу пошли подряд очень ветреные дни. Кроме обычных прогулок, я по утрам бегала во все уголки парка, в Дорогини и дальше, по всей Омшарине, и прощалась. Мне никак не верилось, что я не увижу больше осени и начала зимы, февральских и мартовских оттепелей. До того было горько и верилось в какое-то чудо, вдруг что-то помешает и не надо будет уезжать. Просить, чтобы меня отдали в порховскую гимназию, было бесполезно: никто из родных этого бы не поддержал, а к тому же все равно пришлось бы уехать из Вольшова, с чем никак было невозможно смириться. Но удивительно то, что здесь, дома, я еще не плакала; целые реки слез были пролиты после, когда я была принята и жила уже в интернате. Мама приходила каждый вечер, две недели не могла уехать домой, а я ничего не говорила, только плакала. Она с отчаянием спрашивала: «Ну, что же ты так плачешь? Девочки, говоришь, хорошие, учительница тоже, что ж плакать?» И я с трудом находила себе оправдание: «По французскому не получается...»

И классная дама, и начальница знали, как трудно я переносу

отъезд из дома, говорили, что даже деревенские девочки редко так скучают. Но привыкала я трудно, и здание школы со ставнями на окнах первого этажа казалось мне тюрьмой.

Когда в 1916 году, снова осенью, вся семья уезжала из Вольшова, сборы и отъезд были без меня, я была уже старше, привыкла к классу и радовалась, что родные будут близко. Таким образом, мне не пришлось еще раз прощаться с Вольшовым, к тому же оставались там обе семьи родных, и была надежда на ежегодные приезды.

И все-таки опять это было большое и тайное горе. Получалось так, что для отца сбывается его старая мечта возвращения в его родной Петербург, брату не придется пройти через интернат, мама понимает разумность принятого решения, и не могу с ним смириться только я. Но говорить об этом было нельзя никому: мама, я уже об этом писала, не терпела объяснений, да она и сама могла не удержаться от тоски по Вольшову, а для главного друга - бабушки - наш отъезд означал, конечно, не меньшее горе, чем для меня.

«Ивановское девичье училище»\*, интернат при Коломенской гимназии, получившее равные с ней права, находилось на Торговой улице (теперь Союза Печатников) близ Мариинского театра и костела святого Станислава. Его начальницей была княжна З.А. Мышец-

\*Воспоминания о двух институтах, в которых в Петербурге училась Г.В. Проксурякова, даются без значительных сокращений, так как этот материал может быть интересным для выпускников и студентов педагогического института (Н.М.)

кая - человек, проводивший в жизнь цельную педагогическую систему, во многом для того времени передовую и новаторскую.

«Ивановское» было интернатом, приходящих девочек было 2-3 в классе. Принимались в училище дочери всех, кто мог заплатить довольно высокую плату - 320 рублей в год, притом верхнюю одежду и спортивный костюм должны были приобрести родители.

Если и были в училище дочери купцов, ремесленников, мелких служащих и чиновников всех рангов, то все они были из зажиточных семей, имевших возможность дать дочерям хорошее среднее образование. Больше половины учениц были приезжие; кроме каникул, девочек отпускали домой с субботы до вечера воскресенья, но этим правом пользовались не все. Условия для воспитания были самые благоприятные: влияние школы почти не сталкивалось с влиянием семьи, но вместе с тем дети не были сиротами, как в «приютах» того времени; обучение в интернате было «выходом» для семей, живших в провинции.

В закрытых учебных заведениях был обычно малочисленный состав учащихся: в Ивановском не было ни подготовительных, ни педагогических классов, значит было всего 7 классов, около 200 девочек. Училище размещалось в небольшом неприметном доме со ставнями на окнах нижнего этажа: кроме классов и спален был зал (на стенах его висели темные портреты каких-то сановников), церковь, квартира начальницы, лазарет. Для прогулок - маленький двор, со всех сторон стиснутый домами, в том числе и жилыми. Педагогический коллектив был довольно сильный,

женский (кроме священника), это было одним из принципов начальницы, пожилой и незамужней. Может быть, отчасти поэтому некоторые учительницы совершенно не запомнились (например, истории) и многие были «на одно лицо» - молодые, старательные, сами похожие на практиканток, они приходили в классы не только на свои уроки, но иногда и вечером, на приготовление заданий. Как звезды, выделялись среди других сама начальница, преподававшая русский язык, ее подруга математичка и преподавательница географии. Хорошо были оборудованы классы: в каждом висели сбоку все нужные карты (их можно было развернуть, как гардины, просто потянув за шнурок), было много наглядных пособий и стояли замечательные парты: каждая на одну ученицу, очень светлого дерева (за каждую кляксу полагался штраф с родителей и, что всего поучительнее, клякс не было, парты выглядели как новенькие). Во всех классах на задней стенке были часы.

В училище проводились принципы - не только обучить, но и воспитать рукодельниц, хороших практичных хозяек и светских женщин, не чуждых искусства. Делалось это продуманно. Были отменены белые пелеринки и передники в будни, они стали лишь парадной формой, платья для нее были сшиты добротные, темно-красные, шерстяные. А в будни воспитанницы ходили в некрасивой, но практичной одежде: камлотовой (камлот - старинная ткань, которая топорщилась и не мялась) не новой, но прочной юбке и кофточке с напуском из ткани в полоску синюю и темно-красную.

Все эти новшества были сделаны в противовес порядкам в «институтах благородных девиц», которым раньше подражали и в Ивановском. Вместо мягких «прюнелевых» сапожек с ушками всем выдавались полуботинки со шнурками, вместо белых чулок - обычные темные, в резинку. Для спортивных занятий - со снарядами и на снарядах, по программе общества «Сокол» - родители должны были купить коричневые туфли и чулки, синие трусики и полосатую «фуфайку» вроде майки, но с рукавами.

И, наконец, самое главное: всю эту одежду каждая ученица должна была сама чинить и держать в порядке, как и белье, похожее на домашнее, обшитое узкими кружевцами. На уроках рукоделия за штопку чулок и починку белья ставили оценки (каждая ученица имела свой номер: на все время учения моим номером должен был остаться № 79); уделялось на этих уроках время и для других дел - вышивки, вязанья, но из-за войны все это было заменено шитьем кальсон и рубашек для госпиталей и приготовлением «корпии» (ветхие чистые лоскуты расщипывались на нити - для перевязок, вдобавок к вате).

Хороших хозяек воспитывали не только в старших классах на уроках домоводства, а с первого дня пребывания в училище. Делалось это очень продуманно - воспитанием интереса и вкуса к еде и убранству стола. Класс сидел за одним столом, во главе, как и на уроках, классные дамы, но кроме того по очереди ко всем столам садилась начальница. И эти взрослые разговаривали о еде, учили правильно и красиво есть,

если девочки дома не получали таких навыков. Очень хорошо и интересно кормили; на белых скатертях стояли приборы и графины с вкусным хлебным квасом (каждой по стакану). Говорили названия блюд и даже бывали «сюрпризы»: например, сообщалось, что «драчону» - запеканку из муки и яиц - приготовила «сама Зинаида Аркадьевна» (начальница), за обедом общались, что к ужину будет картофельный салат или соленые грибы, или «растегай» - блюда очень любимые.

Терпеть не могли многие овсяный суп и «телячьи ножки», и сбить свою порцию товарищу, чтобы он выручил, бывало не так-то просто, а я с детства больше всего любила овсянку.

Осенью давали яблоки, арбуз, дыню, сливы. Еду раздавали тут же за каждым столом из суповой миски (тарелки передавались по-порядку, сперва последним), был выработан удобный для всех темп, и разрешалось разговаривать потихоньку - пример и в этом подавали классные дамы и начальница.

Как воспитывали «светскость» и причастность к искусству?

Очень хорошо преподавались танцы, помогала близость Мариинского театра: в училище училась Вера Барановская, а ее старшие сестры-солистки балета не только преподавали, но и выступали на всех вечерах в училище. Они были, кроме того, примером умения одеваться - очень модно, красиво и скромно. За танцы ставились оценки, это был учебный предмет.

Во всех классах учительницы русского языка учили декламировать, много стихов учили наизусть.

Спортивным занятиям придавался оттенок зрелищности: разучи-

вали пирамиды, в меньшей степени изредка применялись состязания.

Вечера и утренники были редкими, но они превращались в своего рода события: готовились долго, были выработаны традиции (после лучших номеров от классов выступают несколько учителей, а особенно - балерины!)

Училище имело в штате постоянных аккомпаниаторов - и для танцев, и для декламации и пения, и для физкультуры.

Главным событием года был праздник выпуска: за несколько лет решали с участием воспитанниц, какой танец будет центральным номером (обычно из национальных - русский боярский, цыганский, испанский, мазурка и т.д.), какая будет драматическая постановка. Об этом разговаривали классные дамы и начальница, об этом в классах мечтали, стремились - каждая ученица - проявить какие-то свои способности. А.С. Макаренко впоследствии обосновал педагогический принцип «перспективы завтрашней радости», но наша начальница тоже шла по этому пути.

Отдав должное ее начинаниям и организаторской работе, дальше надо сказать о ложках дегтя, портивших бочку меда.

Идеологическое воздействие на мировоззрение девочек должно было идти через церковь - она была в самом здании училища, красивая, в зале с деревянной обшивкой и обильной позолотой, с очень хорошим хором учениц старших классов, но священник, единственный мужчина в училище, далеко не был педагогом, поэтому его слова и проповеди ни на уроках, ни в церкви не запоминались. Пожалуй, если бы это было иначе, часть девочек поддалась бы

религиозным настроениям всерьез и надолго. Непререкаемым было требование все тексты по «закону божьему» учить наизусть и на высшую оценку.

В годы Мировой войны очень усилилась шовинистическая (вместо патриотической) направленность газет, журналов и школы. И вот в этом З.А. Мышецкая превзошла себя: не говоря уже об уроках и о работе классных дам - в училище был проведен грандиозный вечер с массовыми танцевальными, хоровыми и спортивными выступлениями (кольца, палки были обмотаны лентами цветов русского флага, флажками были расцвечены пирамиды); после учениц выступали приглашенные артисты. Они пели какие-то странные песни. Помню такие слова: «Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед!» (это о войне). Или: «Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в служенье, любви и мольбе».

Учителя декламировали и пели тоже что-то такое в «патриотическом» и воинственном духе. Физкультурные выступления шли под песню хора из оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя» - со словами, прославлявшими царя.

Но особенно в этом вечере потрясло нас, 11-летних, то, что все учительницы были в русских боярских, расшитых золотом и бисером, костюмах. Всем они были к лицу - у учительницы французского языка - голубой, немецкого - малиновый, а у начальницы и математички - серебряные с золотом и с длинными жемчужными подвесками.

Ученицы сделали открытие о несметных богатствах, которыми

владеют наши воспитатели и были этим смущены; через несколько лет мы узнали, что на Караванной улице (теперь Толмачева) есть богатейшие склады театрального имущества и костюмов, даваемых напрокат.

Много дней в училище вспоминали необыкновенный праздник, о нем рассказывали родным, приходившим на прием.

В начале главы рассказано, каким горем для меня было поступление в интернат и отъезд из дома. Очень быстро, в первом же (он назывался седьмым и нумерация шла до первого, старшего класса) классе я догнала всех по французскому языку, ко мне хорошо относилась начальница - может быть - за успехи в русском языке, мне был даже великодушно прощен тяжелейший проступок: я прочитала в одной книге, как в школе жевали бумагу и приклеивали шарики к потолку, а потом они падали с треском во время уроков. Моя мысль - повторить такой опыт - была широко подхвачена несколькими девочками.

Мне, заплаканной и дрожащей, было сказано: «На всякого мудреца довольно простоты», и меня простили. Впрочем, в библиотеке были изъяты книги Л. Чарской и еще некоторых авторов.

Казалось, можно уже смириться со школой, но после каникул дома я с таким же отчаянием уезжала в училище, как в первый раз, и... решила заболеть. В день отъезда с весенних каникул до дрожи наелась снега, но заболела уже в училище, пролежала почти всю четверть в лазарете и добилась только того, что была отпущена домой дней на десять раньше других.

По всем предметам мне вывели хорошие отметки, кроме арифметики, по ней задали на лето работу. Это обернулось для меня хорошей стороной: пришлось заниматься с волышовским учителем А.И. Трошневым, и действия с дробями стали для меня увлекательной темой. Занятия шли на улице (в парке), в них участвовали еще три мальчика, у которых были переэкзаменовки: все это было интересно и в итоге благодарили друг друга от души: я учителя, а он - меня.

Второй год (шестой класс) в Ивановском был благополучнее первого, я притерпелась к затворнической жизни, уже видела некоторые хорошие стороны, появились у меня и подруги.

Патриотический вечер поверг меня в недоумение, и тут моя отважная тетка - тетя Люба - взяла на себя трудную миссию: она пошла против авторитета начальницы.

Еще раньше она была возмущена тем, что к именинам последней шел сбор денег и придумывался подарок. Как выпускница этой гимназии, тетя Люба и ее подруги следили за новшествами и увидели в них неприемлемое черносотенное политическое содержание, о чем и сказали мне.

В 1915 году осенью наступил новый период моей жизни в Петербурге: меня перевели из Ивановского училища в Елизаветинский институт. Причина была простая: меня приняли «на казенный счет» (кажется, все воспитанницы учились там бесплатно), потому что к этому времени отец получил чин коллежского регистратора, а он давал право на обучение в привилегированном учебном заведении. Мне бы там, конечно, не бывать,



если бы прошение отца не было поддержано княжной Гагариной - она к этому времени стала фрейлиной (это придворное звание давало доступ в ведомство, управлявшее институтами). Наш институт находился на 13 линии Васильевского острова в красивом доме с садом (теперь это одно из зданий ВМУ имени Фрунзе). В центре здания был большой, высокий и светлый Актный зал, его главным украшением был прекрасный (в полный рост) портрет императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. В зале проходили все торжественные акты и праздники, а по воскресным дням в нем девочки под присмотром воспитателей принимали родителей и других посетителей.

Классные помещения и дортуары в большом здании размещались продуманно: в разных этажах и на разных лестницах таким образом, что ученицы разных классов в обычной жизни не встречались, а встречались лишь на праздниках и в церкви. Во время церковной службы честь нести зажженную свечу перед классами присуждалась лучшей ученице. Нередко эту роль выполняла и я, хотя она давалась мне непросто; еще в раннем возрасте у меня была обнаружена очень сильная близорукость.

Среди других, многочисленных в Петербурге, институт занимал какое-то среднее положение. Смольный, Павловский, Екатерининский - это были институты «для благородных девиц» в полном смысле этого слова, там учились тогда дочери дворян. Мариинский институт был почти обыкновенной гимназией, в него принимались даже дочери купцов, в нем не было зак-

рытого режима (были приходящие ученицы, всех отпускали домой на воскресенье).

А Елизаветинский, как Ксениинский и Патриотический, были посередине: у нас был закрытый режим (даже на лето можно было оставлять воспитанниц в институте, а на воскресенье не отпускали), принимали девочек из семей дворян, чиновников, заслуженного духовенства, но ни дочерей купцов, ни «инородцев», кроме титулованных, в нашем институте не было.

Понятно, что богатые, процветающие дворяне своих дочек в интернате не учили, предпочитая образование домашнее или в аристократических частных гимназиях, если даже не за границей. Поэтому почти все наши даже «титулованные» девочки были какие-то ненастоящие, не такие аристократки, о каких мы читали в книгах. В нашем классе была единственная графиня с удивительной фамилией Корелли ди-Брандиццо-э-Рокко Кастелли. У нее бывал нередко очень красивый отец, совершенно итальянского жгучего типа - а девочка была светленькая, слабого развития, и училась почти хуже всех, и о домашней ее жизни ничего не было известно. Теперь я думаю, что Таня Корелли была, наверно, полусиротой и отдать ее в интернат было для отца выходом.

В других классах учились две «светлейшие княжны» Грузинские - Нина и Тамара, к ним на прием приходила тетка и приводила младших сестер - Гаяну и Сусанну. Все четыре девочки были хорошенькие, породистые, не очень типичные. А их мать жила в «доме Фредерикса» на Лиговке - там сда-

вались дорогие комнаты привилегированным жильцам. «Светлейшая княгиня» производила впечатление больной, была плохо и странно одета, в институте она, кажется, никогда не бывала. По-видимому, и для этой семьи обучение девочек в институте было вынужденной необходимостью.

Большинство учениц нашего класса были дочери военных - офицеров армии и моряков, провинциальных более или менее крупных чиновников. Была одна дочь священника и две дочери фельдшеров - я и еще одна девочка, и у нас было самое низкое общественное положение. Впрочем, мы от этого почти не страдали, хотя давно начали понимать, что будущее нам предстоит более трудное, чем другим одноклассникам; не только нам двоим, но и дочерям врача, вдовы-учительницы, вдов-дворянок.

Учебно-воспитательная работа в институте была иной, чем в Ивановском. Весь распорядок в институте определялся традицией, по крайней мере полуторавековой. Учителями были главным образом мужчины - в мундирах с блестящими пуговицами они появлялись только на свои уроки, важные и в большинстве недоступные; инспектор был фактическим главой института. Начальница, баронесса М.Л. Казембек, занимала квартиру в здании, но появлялась лишь в церкви (по лестнице ее несли в кресле), красивая, седая, затянутая в корсет. Когда ей представляли новых учениц, она подставляла щеку для поцелуя.

Инспектору помогала осуществлять руководство и надзор старшая классная дама - выпускница Смольного института, суще-

ство с узким кругозором, плохо знавшее даже французский язык. Поэтому главное осуждение плохого поступка она выносила по-русски, всегда одними словами «Какой срам!» Нередко в институте появлялось и более знатное руководство - попечители, из них был даже один камергер. У него на белых шелковых (!) брюках был сбоку вышит ключ. Все девочки мечтали, но немногим удалось поглядеть на это диво вблизи.

Ничего похожего на роль начальницы Ивановского - души и инициатора всей учебно-воспитательной системы - никто в институте играть не собирался, инспектор А.П. Петров, впрочем как и З.А.Мышецкая, был хорошим преподавателем русского языка.

Преподаватели в мундирах были лучше обеспечены и как чиновники имели больше прав, чем другие, среди них попадались учителя более сильные, чем учительницы в Ивановском. В старших классах был отличный физик по фамилии Софроницкий, очень хорошие учителя пения и рисования, красноречивый и вьедливый, оснащавший уроки яркими картинками, «батюшка» - учитель «закона божьего», несколько прекрасных преподавателей русского и иностранных языков.

Очень скучным формалистом был учитель истории, но его выручала увлекательность самого предмета.

В жизни своей мне не встретилось более талантливого преподавателя, чем наш «француз» - по специальности и по происхождению - Марсель Генрихович Фавр. На каждом его уроке любой класс успевал: ответить заданное, в том числе многое наизусть, при учас-

тии всех учеников, прочитать и пересказать новый рассказ и усвоить грамматическое правило, помаршировать по классу для отдыха, потом написать небольшую, тут же проверяемую работу (немного похожую на тесты) и, наконец, «для души» исполнялись (декламировались) любимые, выбранные самими, стихотворения.

В этом искусстве соревновались: Марсель Генрихович (впрочем, мы его так не называли, ему больше нравилось просто «мсье Фавр»). Заранее просил всех подготовить как можно лучше самое красивое стихотворение, а для премий победителям принести ему - по секрету от всех - премии. Он советовал принести открытки или маленькие книжечки, но если девочки от всего сердца приносили красивую ленту или салфеточку - и такая премия вручалась победительницам конкурса из его волшебных рук.

И самое главное: ни одного слова по-русски мы от него ни разу не слышали, а он учил нас всего лишь на четвертом и пятом году изучения языка. Все знали, что он по-русски не понимает и не говорит; чтобы проверить, девочка, жившая долго в Париже и подозревавшая его в притворстве, ругала его по-русски в глаза последними словами - дураком, неряхой, пиявкой - но он себя не выдал ни разу, а после мы узнали, что он женат на русской - на своей ученице из нашего же института, что у него двое детей, и с ними он говорит на двух языках.

Уроки французского языка были «уплотнены» до предела: он работал, едва войдя в класс, никогда не сидел, всех видел, был всегда оживлен и видно было, что

труд его исполнен вдохновения.

Заслуга М.Г. не уменьшается от того, что в институте ему помогала сама система воспитания: с классными дамами и между собой воспитанницы должны были разговаривать день по-французски, день по-немецки. Так как это были годы войны, разговор на немецком языке был отменен (патриотизм!), но продвинуться в знании французского нашему классу очень помогла один год классная дама - француженка Е.Ф. Короткевич, потому что потом ее заменили инспектрисой.

Классные дамы в институтах не только были с нами на всех уроках и в столовой, а и вечером - их комнаты находились рядом с дортуарами (спальнями) их классов. Малейший шум или происшествие - классной даме приходилось вмешиваться: уговаривать или наказывать. Некоторые классные дамы любили приглашать к себе в комнату хороших учениц, это было вроде награды, но мадам (наша классная дама) этого не практиковала (с ней жила дочь), а инспектрису мы не любили и старались поскорее уйти из ее комнаты.

В отличие от Ивановского, рукодельниц из нас не воспитывали. И хотя форменная одежда и белье были сильно поношенными (переходили от окончивших учениц к новым), мы сами их не чинили. Пелеринки, белые передники и рукавички носились изо дня в день, и меня сразу возмутил обычай использовать белый правый рукавчик как промокашку. Почти у всех девочек он был весь в чернилах, а меняли всю эту белизну раз в неделю, в субботу, перед всенощной (церковной службой). Платья были до полу, из того самого камлота,

который постепенно выходил из обращения в Ивановском. Жесткая, толстая материя была пригнана вплотную и еще затянута передником с бантом на спине (в этом было щегольство, как у моряков - чтобы платье как можно длиннее, а «талия» если не тоньше, то по крайней мере затянута).

Плохое было белье: из холста, чаще всего ветхого, а фасон рубашек как на картинах Венецианова: спереди разрез, застегнутый на одну пуговку, оборки вокруг круглого выреза и небольшие рукава; вместо «трико» - длинные, узкие панталоны. Чулки толстые, «белые», нитяные, а обувь - «прюнельки», ботинки с ушами спереди и сзади, из блестящей материи, а сбоку кусок прорезиненной ткани, который растягивался якобы по ноге. Первые полученные мной в институте «прюнельки» были номера на три больше, чем нужно, это было весело, но неудобно.

В институте была «бельевая дама», она ведала всем обмундированием; после Ивановского мне было трудно отучиться от хорошей привычки самой следить за своей одеждой. Своих пальто в институте не требовали: на осень и зиму всем выдавались теплые панталоны и галоши, пальто на вате до полу, серые башлыки и плюшевые шапочки - скуфейки. Все это было очень похоже на монашеские одежды. На гимнастику одевались красные хлопчатобумажные платья по колено с рукавами до локтя и с высокими воротниками.

Старшеклассницы отличались от младших цветом платьев: у младших - темно-красные, у старших - зеленые, у пепиньеток (педагогический, восьмой по счету, класс) - светло-серые шерстя-

ные. И еще для старших были пальто до колена и ... в талию (предмет зависти младших). Прически были одинаковые у всех в одном классе: при поступлении - стрижка наголо, потом - гребенка, потом - косы и в двух последних классах - высокие прически из кос. Ленты в косах только черные; но в день рождения или именин разрешались красные, виновница торжества получала поздравления и подарки от подруг, сама же угощала класс пирожными, тортом или домашними пирогами.

Праздничными были еще «царские дни» (дни именин и рождения царя и наследника): как и в воскресенье, звонок поднимал нас на час позже, чем в будни - в 8 вместо 7. А после богослужения полагалось всем по бутерброду, чаще всего с сыром.

В Ивановском кормили несравненно лучше и интереснее, чем в институте: сыр и колбаса бывали там не редкость, в институте же даже меню было какое-то архаическое, если не сказать допотопное. Лучшим сладким считался «рис императрицы» (крем с рисом), обычным - «армериттеры» («бедные рыцари»), то есть кусочки поджаренной булки с вареньем или в миндальном молоке.

Все было какое-то перепре- лое - и супы, и биточки; и каши, и брюквенный соус. Булочки по утрам серые и жесткие, шарик масла на каждой тарелке маленький и невкусный.

Администрация не вмешивалась в хозяйство (были эконом, повара), но уже в 1915 году было разрешено родным приносить на прием не только лакомства, но и еду: признавалось, что кормят хуже, чем нужно, но это списы-

валось на войну и дороговизну.

Впрочем, поддерживался в институте один уютный обычай: среда была баннным днем, после мытья разрешалось надеть теплый платок сверх пелеринки и всех поили чаем с вареньем - тоже что-то совсем старозаветное.

Танцы преподавались, как и в Ивановском, хорошо: кроме полек, вальсов и распространенных тогда венгерок, краковяков и паде-катров главное внимание и время уделялось танцам не общепринятым, как бы «придворным». Менуэт разучивали на каждом уроке, вальсы «Людовик Пятнадцатый», «Директуар», даже полонез, вообще-то совсем легкий танец, все шлифовали и шлифовали.

Учили искусству «реверансов» - приседаний: иногда в обычной жизни был уместен короткий реверанс «полуприседание», иногда глубокий, но самое трудное - это коллективный реверанс.

В 1916 году (!) в нашем институте почему-то ждали царя или царицу - и пошли тренировки! Не только беседы, кого ждем, как будем принимать, но и репетиции: раздавался особенный протяжный звонок и где бы мы ни находились - в классе, столовой, в зале, на гимнастике - класс строился, вперед выходила классная дама и начинался коллективный реверанс. Начинали приседать в первом ряду - самые маленькие, через две-три секунды - второй ряд и т.д. Склонялись головы (передники нужно было легко держать двумя пальчиками) и все замирали на время в глубоком поклоне, чтобы потом «грациозно» выпрямиться. Не очень много грации могло быть в движениях 12-13-летних подростков - а должно было получаться впечатление волны го-

лов и белых пелеринок. От репетиций по классам переходили к общим - это было еще труднее, особенно потому, что не вызывало никакого интереса (ни царя, ни царицы институт не дождался, в планы вмешалась революция).

Организованной сверху самодеятельности в институте не было: старательно пели, учились музыке, танцевали - все это не для показа, не для праздника, но на отметку. Часто говорилось об избранности и высоких обязанностях выпускниц институтов. Само это звание как бы предполагало, что мы должны стать совсем не такими девушками, как гимназистки. Наверно, для того, чтобы поднять нас в своих глазах, учителя обращались к нам только по фамилии с первого же класса, с 9-10-летнего возраста на «вы», прибавляя обязательно «госпожа». Вот как это звучало (подчас анекдотически). К первой ученице, которая ошиблась из-за ревностной спешки: «Как же это Вы, госпожа Рамша; надо же сперва подумать, потом говорить!» К последней ученице: «Госпожа Корелли, Вы опять не выучили урок, опять ничего не поняли - ставлю Вам пять» (при двенадцатибалльной системе неудовлетворительные оценки начинались с «шестерки») - «госпожа» уходила от доски с плачем.

В институте, в его учебной системе много было и хорошего. Наверно, благодаря более или менее богатому бюджету была хорошая библиотека: кроме шкафов одного общего зала, украшенного бюстами писателей, все книги были распределены по классам (их выдавали классные дамы); у нас, в IV классе, ими были полны четыре

больших шкафа. Русские книги и журналы были чаще всего на руках, их не хватало, но столько же было книг на французском и немецком языках - это создавало дополнительный стимул овладеть языком (в том числе для меня).

Нами вполне была оценена большая свобода внутри, казалось бы, жесткого режима. И в саду, на прогулке парами, и в классе, особенно вечером, когда готовили уроки, и в дортуаре, куда отправляли довольно рано, часов в 9 - 9.30 - везде развевалась самая настоящая самодеятельность. Вместе проводили субботу и воскресенье - отсюда большая сплоченность класса, в частности, нашего класса, потому что почти никакой связи с другими классами не возникало, это, наверно, тоже было принципом.

Приведу только два проявления самодеятельности, хотя их было без счета. Во-первых, совершенно стихийно возникала взаимопомощь. Помогали слабым готовить уроки, сильные объясняли по нескольку раз, проверяли, придумывали упражнения. И это было от жалости к тем, кто попадал в трудное, униженное положение, кто плакал и боялся прихода родных, из любви к учителям, которым хотелось облегчить их труд, помочь и порадовать. (К урокам русского языка дворянские дочери вместе с менее высокопоставленными... мыли пол вокруг стола учителя (то есть в половине класса), мел и книги обертывали белейшей бумагой, в тетради и задачки вставляли ленты-закладки).

А по вечерам, справившись с уроками - побыстрее благодаря взаимопомощи - устраивали в другом, не учительском, конце клас-

са концерты. Не было аккомпанемента, вновь и недавно открытые таланты страшно робели, но участников концертов делалось все больше (робкие пели, закрывшись дверью от книжного шкафа). У Жени Юрковской мама была певица - Женя исполняла арии из «Снегурочки» и «Пиковой дамы», Оля Бобкова и Варя Назаренко пели русские и украинские песни и «военные» романсы. Кто знал какую-нибудь песню, делился ею со всеми. Почти все читали стихи, любимые или собственного сочинения. Сочиняли прозу - имели благодарных слушателей. Хором в классе не пели, боясь появления классной дамы, но, с ее разрешения, пели в саду. Весной в саду же увлекались игрой в мяч (без сетки, но игра была похожа на волейбол), старшеклассницы зимой завладевали катком, а выпускницы на всех окнах и выступлениях печатали фотографии (с фотопластинок контактным способом).

Было еще одно тайное развлечение: переговоры с нашими соседями, воспитанниками Морского корпуса. Окна наших классов были разделены лишь неширокой улицей (12 и 13 линия Васильевского Острова) и, хотя нижние стекла были закрашены, в верхних выставлялись крупные буквы. Чаще всего сообщались имена девочек и юношей, которые, встав на подоконник, показывались друг другу. Девочкам нашего класса шел 14-й - 15-й год, «моряки» были старше, поэтому срочно «сочинялись» прически и волосы подвивались на металлические «вставочки» для перьев. Это маленькое, едва возникшее кокетство не стоило бы упоминать, если бы благодаря ему мне не запомнилась топящаяся

печка в классе (на углях нагревали «щипцы» для завивки) и если бы такое нелегальное развлечение не доказывало большой сплоченности класса: никто никогда не выдал инициаторов (а ими были самые хорошенькие и легкомысленные), не позвали классную даму (и, видимо, нередко же мы оставались без всякого присмотра).

Отлично сжившись и спевшись между собой, классы жили самостоятельно, в них были свои авторитеты (вожаки, «лидеры»), было общественное мнение, свои любимцы, гордость, огорчения. В дортуарах иногда творились недозволенные дела: приносили с собой еду, припрятанную днем или после приема родных и «пировали» на четырех соседних кроватях, потом рассказывали «про дом», «про страшное», и просто прочитанное или придуманное.

Руководство института было, похоже, уверено в том, что оправдавшая себя когда-то система будет работать без отказа. А может быть, оно было уже охвачено волнением и ожиданием перемен, неизбежность которых в Петрограде чувствовалась особенно остро.

Слабые стороны «институтского» обучения и воспитания общеизвестны, они бросаются в глаза и при любом, самом бесхитростном, конкретном рассказе и воспоминании о каждом дне, прожитом на 13 линии Васильевского Острова. Нет смысла заново обосновывать и косность ряда принципов, когда-то представлявших их инициаторам передовыми.

Но об одной детали невозможно умолчать: девочек, съехавшихся из многих сел и городов России, держали взаперти в течение 7-8 лет. Мы не видели не только Пет-

рограда - на Васильевский Остров нас вывели единственный раз, в фотографию. Мы не видели ни одного памятника, ни Невы, ни моря, которые были в двух шагах от нас, не были ни в одном музее, ни в одном театре. Очень трудно представить себе, кого же хотели из нас воспитать - если не хороших хозяек, то каких же подружек мужьям и матерей - детям?

В 1916-17 учебном году до нашего замкнутого мирка (около 250 учениц, их учителя, воспитатели и обслуживающий персонал) стали все больше доходить вести и разговоры о событиях, происходивших на фронтах и внутри правительства. Ждали задержавшегося открытия заседаний Государственной думы, обсуждали подробности убийства Распутина, волновались из-за усиления цензуры и политических репрессий.

Ни один из учителей или воспитателей не обмолвился с нами ни словом, но прием родных отменить было нельзя и мы, стовариваясь заранее, расспрашивали каждого, кто что-нибудь мог сказать. Особенно хорошо были осведомлены старшие братья и сестры - студенты и курсистки, они приносили в институт и газеты, переходившие из рук в руки заинтересованных.

Падения самодержавия ждали, но никто не думал, что оно совсем уже близко. И вдруг мы увидели в те же покрашенные окна, что на 12 линии, может быть, совсем по соседству с Морским корпусом, появился красный флаг. Набросились на классную даму, она ушла и, вернувшись, «разъяснила», что такими флагами отмечают помещения музыкантских команд, одна из них только что разместилась перед наши-

ми окнами. Никто этому не поверил, мы насторожились и обиделись («считают нас за дурочек»).

За стенами института чувствовалось необычное оживление: хотя за годы войны все привыкли к тому, что по Большому проспекту с песнями часто маршировали солдаты и курсанты, теперь, в конце февраля 1917 года, и песни, и шум, и народ на улицах, и грохот многочисленных - как нам казалось, грузовиков - все было не так, как раньше. Уроки проходили незаметно, учителя были какие-то рассеянные, прием родных отметили - и все-таки скрыть от нас крушение царизма было невозможно. 2 марта утром, когда как обычно все собрались в голубой зал на молитву, вышел взволнованный и мрачный инспектор А.П. Петров и сказал несколько слов: что царь отрекся от престола, что ему пришлось это сделать, он был вынужден, и что мы ничем ему помочь не можем - нам остается только молиться за него.

Мы были ошарашены не только сутью происшедшего, но и тем, чего от нас требовали. Мы бросились к учителю истории, С.П. (или С.Н.) Розову: «Вы на чьей стороне?» Он нас отстранил и с высоты своего довольно большого роста скучным голосом сказал: «Я, как и всякий благородный человек, за порядок».

Больше с ним разговаривать было не о чем, но его слова были все-таки понятнее, чем слова инспектора.

(Продолжение следует)

В тот же день, а может быть на следующий, в институте был обыск. Произошло неслыханное: отряд матросов с красными повязками занял все выходы, проходы и лестницы внутри помещений. Мы были рады их приходу: что-то прояснялось, в институт врывалась подлинная жизнь. Матросы были сдержанны, вежливы, серьезны. Того, который стоял в библиотечном зале, близ нашего класса, мы опросили осторожно, почему они пришли. И матрос сказал, что из окон института, из-за украшения или доски на фасаде, кто-то стрелял.

Обыск скоро закончился, но в институте начались свои «демонстрации», в ход пошли красные именинные ленты, бывшие у каждой воспитанницы, их привязывали к стойке для карт и ходили по коридорам с пением единственной известной нам революционной песни - Марсельезы.

Никто этого не запрещал, но в классах уже не было единодушия, и демонстрировать хотело меньшинство - в нем оказались те, кто читал газеты и начинал заниматься политикой, да еще просто девочки посмелее.

В скором времени подошли пасхальные каникулы, нас распустили - и больше уже не собрали. Родителям выдали наши вещи и говорили им невразумительные слова относительно того, что институты будут эвакуированы (из-за близости фронта к Петрограду); предлагали подумать и решить вопрос о дальнейшем образовании дочерей.





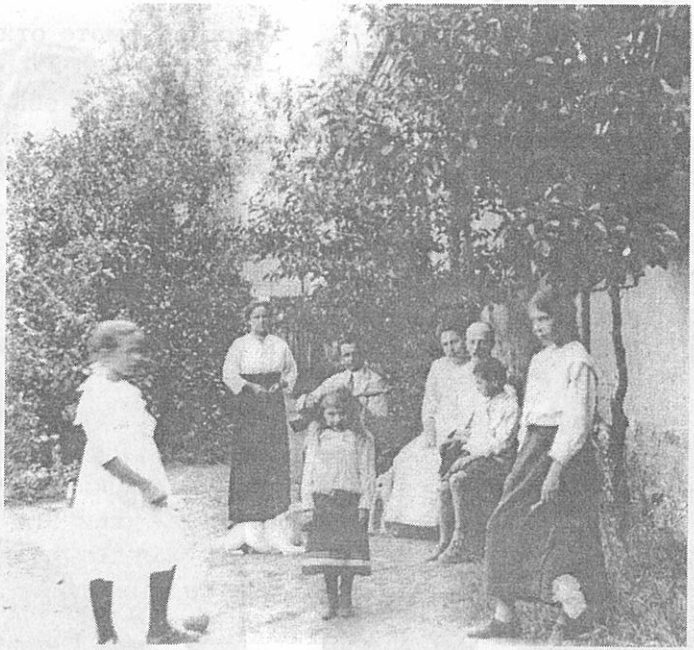
Л.А. Проскурякова с детьми



Л.Г. Пешая



Вольшово. Березы у дома управляющего охотой.  
На лошади Т.А. Фишер, сын управляющего охотой.



Детские игры в Вошьшове у Аптеки



Брат и сестра Проскуряковы